

ГЛАВА 1.
ФИЛОСОФИЯ,
СОЦИОГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ И ВЛАСТЬ:
ЗЕРКАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

1. Установление и разрыв дистанции с предметом

Есть два взгляда на взаимоотношения философии и социальной науки, с одной стороны, и власти, политики, инстанций управления — с другой.

Первый взгляд более традиционен и академичен: философский и собственно научный подход предполагает максимальное дистанцирование от «злобы дня», от соблазнительных игр с властью и втянутости в политическое, что, как считается, гарантирует искомую объективность понимания и беспристрастность в оценках. В свою очередь, здесь также можно усмотреть две основные ветви: либо относиться к власти и политическому отстраненно, в качестве объективного и незаинтересованного наблюдателя-аналитика — либо вовсе избегать этих тем и заниматься предметами заведомо аполитичными, всего связанного с властью чурающимися по определению.

Другой взгляд предполагает известную включенность в процесс — в режиме экспертизы, креативного сопровождения или даже непосредственного участия в политике и управлении, например, с целью обеспечить взгляд изнутри, понимание процессов на основе собственного опыта. Здесь может иметь место также обычная гражданская позиция, не позволяющая выключаться по сугубо моральным соображениям или, например, в силу темперамента. Иными словами, включенное наблюдение может также сопровождаться прямым вмешательством в объект с целью выяснения его реакций, возможностей и пр. — почти в режиме эксперимента.

В обеих позициях есть свои плюсы и минусы, свои сильные и слабые стороны, однако скорее всего это альтернатива для личности, но не для профессии. Каждый вправе выбирать интеллектуальную,

исследовательскую, наконец, просто жизненную стратегию, но для вида занятий или рода деятельности это, очевидно, позиции взаимодополняющие. Здесь не нужны даже логические рассуждения — достаточно взглянуть на историю мысли и понять, что обе традиции представлены такими именами, работами, школами и системами, что исключить какую-либо из них не представляется возможным без фатальных потерь.

Более того, в этом плане есть известная динамика. Так, после Маркса мыслить социально-политическую теорию и практику как изолированные процессы так же трудно, как представить современную, неклассическую физику без позиции наблюдателя. Постсовременная парадигма и вовсе исходит из срастания знания и власти, хотя и очень по-разному, скажем, от Мишеля Фуко («знание—власть»), Жан-Франсуа Лиотара до Ричарда Рорти. Хотя еще задолго до этого такой контакт имел место, начиная с античности, через такие фигуры, как Маккиавелли и вплоть до Карла Шмитта, взаимодействие которого с нацизмом не помешало стать одним из классиков в теории политического, в наше время, пожалуй, едва ли не самым актуализированным.

Но есть особая линия взаимоотношений философии и социогуманитарного знания как института с властью и системами управления. Это отношения сугубо функциональные, организационные, во многом просто административные и экономические. Все это бывало и бывает очень по-разному, причем как в историческом времени, так и в политическом пространстве. Интеллектуальная активность нуждается в ресурсном обеспечении, в инфраструктуре, наконец, в самой санкции на существование. Если даже вообразить себе идеальный вариант совершенно самостоятельного, самодостаточного, ни от чего и ни от кого не зависящего и ни в чем, кроме средств письма и существования, не нуждающегося интеллектуала, то и здесь мы столкнемся со своего рода нулевым, предельным случаем, пустым множеством — надо, как минимум, чтобы тебя не трогали, а это тоже вырожденный вариант все той же санкции. Еще раз, это случай идеальный и скорее даже теоретический: более реально использование интеллектуалами изошренных и множественных техник ухода от такого контроля. В конце концов, каждый, считающий, что он делает именно и только то, что хочет, всегда хотя бы мысленно тестирует ситуацию, зондирует для себя пределы возможного и знает, куда именно он не ходит и что

там бывает. И соответственно, оценивает свои перспективы такого хождения на «суды нечестивых», «за флажки» и т.п. Это как решать для себя, какую пытку ты выдержишь, а какую нет (соблазн здесь тоже подходит, хотя это не совсем тот случай, поскольку честно считать себя совершенно несоблазняемым не так уже и трудно, особенно, когда никто не соблазняет).

Эта линия взаимоотношений интеллектуальной активности с властью — вещь обычно весьма неприятная, поскольку бросает тень прозаического на деятельность по определению возвышенную и такого рода бытовых деталей чурающуюся. Проще всего считать это чем-то, к работе никак не относящимся, — вынужденной причастностью к «миру сему» людей, вся уникальная ценность которых в присутствии мысли и взгляда «не от мира сего» (в высоком смысле этого выражения).

Тем не менее здесь наблюдаются весьма разные типы взаимоотношений, основанные на разных схемах превентивного, априорного, опережающего доверия, или, наоборот, навязчивого контроля. Здесь важно разделять, как минимум, цензуру содержания и контроль «производственной дисциплины». Может показаться, что это вещи практически не взаимосвязанные, однако связь тут есть и часто весьма основательная.

2. Внешняя оценка результативности как дисциплинарная техника

Прежде всего, здесь полезно лишний раз напомнить, что цензура часто (а иногда и преимущественно) работает в режиме самоконтроля и самоограничения. Не надо ничего навязывать или, наоборот, пререживать: достаточно поставить человека в такие условия, когда он сам невольно и, как правило, не признаваясь себе, будет контролировать свое письмо. Рефлексия над таким самоконтролем часто затруднена, это практика из тех, которые бессознательно вытесняются. Тем не менее это сильный механизм, и даже у фигур, выглядящих предельно свободными и независимыми хотя бы в силу нейтральности предмета исследования или концептуализации, всегда остается гипотетическое поле сработавшего самоконтроля — в зоне несказанного.

С этой точки зрения самый обычный административный контроль, проявляющийся, например, в количестве разного рода пла-

новой, справочной и отчетной документации, является не просто капризом околонучной бюрократии, но и применением (тоже часто неосознанным) особого рода дисциплинарных техник. Человеку никто не диктует, что писать, а чего не писать, но фактически обряжают в форму и муштруют. Все приемы стандартизации формы одежды, поведения, речи и т.п. приучают к нормальной реакции на приказ, для чего все индивидуальное требует сдерживания. Заполняя многочисленные формуляры, научный работник также муштруется, как рекрут на плацу. Более того, ему показывают, каково в данный момент главное настроение власти: отпустить вожжи или, наоборот, завинтить гайки. Так демонстрируется вектор изменения политики, режима. А дальше каждый делает выводы уже самостоятельно. Это не всегда срабатывает прямо, но в целом это инструмент безошибочный уже на уровне выбора характера отношений. Когда научного работника вынуждают заполнять множество бумаг с весьма странными и неожиданными деталями информации о себе и своей работе, это часто начинает напоминать «Паноптикон» Бентама — прозрачную тюрьму, в которой все заключенные постоянно просматриваются из одного центра. Конечно, это разные степени проявления такого рода практики, но природа здесь одна и содержит в себе ровно то, что Фуко здесь анализировал в качестве целенаправленной дисциплинарной техники. Когда члены диссертационных советов начинают заполнять обширные анкетные листы, в которых требуется указать даже толщину корешков переплетов в опубликованных книгах, это может быть и плодом странной фантазии управленцев, но и неосознанной воспитательной мерой — попыткой расставить статусы и показать масштаб намерений управляющей инстанции в плане наращивания контроля.

По крайней мере в этом смысле эта политическая, властная и управленческая вертикаль срабатывает как единое целое, чутко улавливающее и транслирующее вниз веяния наверху. Если построить графики политической эволюции постсоветского режима, можно с математической точностью показать, как качания между либеральными и этатистскими, условно демократическими и безусловно авторитарными веяниями в большой политике с небольшим временным лагом, а то и мгновенно подхватывались средней и низовой бюрократией. Инстанции технического регулирования или инспекции ДПС делали это быстрее, органы управления наукой медленнее, но тенденция здесь общая.

Однако это процесс асимметричный. Реакционные тенденции подхватываются бюрократическим низом быстрее, но от них гораздо медленнее отказываются, когда наверху меняется политический курс в сторону некоторой либерализации. Это можно понять. Во-первых, здесь срабатывает совпадение или, наоборот, конфликт интересов. Любые ужесточения подхватываются нижними звеньями вертикали как идейно близкие или просто выгодные, в то время как ослабление контроля всегда наносит видимый ущерб аппаратным массам, причем не только финансовый, но и организационный, статусный, морально-психологический и пр. Опыт проведения институциональных реформ начала 00-х гг. (административной, технического регулирования, саморегулирования и пр.) показал, что часто эмоциональная, сугубо статусная реакция оказывается здесь даже сильнее, нежели потери в доходах на эксплуатации административных барьеров. Во-вторых, ужесточение контроля всегда связано с институционализацией, а потому ослабление контроля неизбежно оказывается более инерционным: принцип «разрушать – не строить» в аппаратно-бюрократической логике не работает, когда это касается демонтажа административных структур и схем.

В связи с этим важно отметить, что в последнее время научное сообщество явно почувствовало на себе резкое нарастание бумажного документооборота, связанного с необходимостью представления множества планов, отчетов и справочных материалов. Эта тенденция проявила себя еще до начала открытой стадии подготовки реформы РАН, но набрала силу буквально в последние годы. По некоторым оценкам интенсивность документооборота превысила уже и советский период. С одной стороны, это может быть связано со сложностями регулирования контента без прямой цензуры, а с другой – с упрощенными возможностями саморазрастания бюрократии. Как бы там ни было, непосредственной мерой оценки, а главное, самооценки результативности аппаратной работы было и остается количество «входящих» и «исходящих», производство которых должно быть налажено в промышленных масштабах. Если убрать этот показатель, а соответственно, и само это массовое занятие, могут возникнуть подозрения в бесполезности многих подразделений и целых административных органов. В связи с этим периодически высказываются предложения наладить встречный процесс – формализованной оценки результативности работы управленческих инстанций, в том числе по количеству, качеству, а главное,

по реальной эффективности циркуляров, запросов и ответов с учетом мнения научного сообщества и с привлечением зарубежных экспертов, как это имеет место в планах по оценке результативности российской науки. Эти идеи не столь экзотичны, как кажется, поскольку формализация оценки результативности решений и действий постоянно находится в планах и самой власти.

3. Регулярная отчетность и защита от прессинга как философско-методологическая коллизия в науке

Но нельзя не отметить своеобразного мобилизующего влияния, которое периодически оказывает на научное сообщество столкновение с разного рода административным давлением. В целом это, конечно, отвлекает, а часто и крайне раздражает. Необходимость отписываться на все новые и новые задания, касающиеся планово-отчетной документации, вызывает в научном сообществе особенно эмоциональную реакцию по целому ряду причин.

Прежде всего это люди, как правило, работающие много и заведомо вне формально установленного рабочего времени. Поэтому дополнительная нагрузка, к тому же представляющаяся большей частью бессмысленной, выглядит здесь особенно несправедливым обременением, а то и просто издевательством. Выглядит это примерно так: люди, с трудом способные выдавить из себя несколько циркулярных страниц за целые месяцы напряженной умственной и аппаратной работы, вынуждают писать ненужные справки ученых (например гуманитариев), пишущих свои авторские, научные тексты не по заданию, а по долгу творчества, иногда по несколько страниц в день или в ночь.

Кроме того, здесь важно также, что ученым, связанным с точным или гуманитарным знанием, часто довольно сложно переходить на язык бюрократической формализации, вписываться в не свой стиль, а главное, участвовать в играх, представляющихся им не просто лишними, но и крайне плохо подготовленными. Усугубляет проблему также то, что конкретные позиции отчетности никак не комментируются извне с точки зрения их реального смысла; их необходимость не обосновывается, даже не проясняется, а дается явочным порядком. Если информация о толщине корешков издаваемых книг зачем-то нужна, пока это не пояснено, такой запрос выглядит в глазах ученых абсурд-

ным, а то и просто требующим диагноза. Это же обстоятельство демонстрирует и особенности стиля отношений, которые административные инстанции пытаются выстраивать как сугубо односторонние и категоричные. Отвечать на запрос положено, а разбираться в смысле запрашиваемой информации — нет. Для людей с научным стилем мышления, натренированной логикой и хотя бы некоторой долей самоуважения это серьезное испытание.

Вместе с тем представителям научного сообщества свойственно творчески реагировать на любые коллизии, в том числе и на такие примитивные, как описанные выше. По мере того, как научные сотрудники осваивают шаблонные приемы заполнения пунктов различных циркуляров, раздражение иногда начинает сменяться размышлением — уже собственно научной проблематизацией, даже рефлексией. В качестве содержательных всплывают вопросы:

— что, собственно, происходит в стране, какие социальные и общеполитические тенденции эти свежие веяния в стиле регулирования научной деятельности так убедительно выражают?

— какие особо грубые концептуальные, методологические и методические ошибки имеют место в новых стратегиях контроля и регулирования науки?

— в чем заключается специфика научной деятельности (в том числе социогуманитарных и философских исследований), запрещающая применение в этой сфере способов упрощенной формализации оценки результативности, да и методов внешнего управления и контроля в целом?

Иными словами, сама эта коллизия становится предметом эмпирической систематизации, анализа и концептуализации. Если наш проект называется «Основания и критерии оценки результативности философских и социогуманитарных исследований», то есть посвящен прежде всего проблемам собственно науки и ее информационной обработки с соответствующими выводами, то логичным продолжением такой работы должно было бы стать научное исследование самих практик внешнего управления и контроля со сбором эмпирической информации, со статистикой и средствами визуализации (таблицами, графиками, диаграммами), позволяющими понять масштабы бедствия и сравнить нынешние практики внешнего контроля с опытом советской науки или с периодом 90-х и даже 00-х, а также с прогрессивным мировым опытом.

Такого рода компаративистика, в свою очередь, открывает целый ряд методологических и методических возможностей.

Прежде всего необходимо выяснить, каким образом может быть обеспечена здесь привязка к национальной, отечественной традиции, а также какие стратегии диктует учет особенностей местных условий и в первую очередь состояния государства, его реформаторского потенциала. Иными словами, здесь важно понять, как можно избежать очередных революций, ни к чему хорошему, как правило, не приводивших, а также выяснить, какие у нас в данном случае есть основания считать, что реформу науки не постигнет участь буквально всех прочих реформ, до настоящего времени начинавшихся в Российской Федерации и в ней же благополучно захлебывавшихся, часто с большими потерями и ударом по репутации.

Далее имеет смысл подвергнуть внешней (международной) экспертной оценке не только результативность отечественной науки, но и сам проект реформы, а главное, все, что будет происходить после принятия закона — на уровне подзаконных актов и конкретных организационно-управленческих решений.

Опыт административной реформы и реформы технического регулирования показал, что зарубежные (а у нас это почти без исключения западные, прежде всего европейские) эксперты обычно сразу делятся на две группы. Одни представляют европейскую бюрократию и родственные ей структуры, а потому подходят к сравнению ситуаций в РФ и ЕС более формально; таким специалистам бывает проще внушить, что наш план реформ в целом более чем соответствует «мировому цивилизованному». Специалисты, непосредственно, практически работавшие в российских условиях и знающие наши реалии, лучше понимают, что «формально безупречное» и почти текстуальное перенесение на российскую почву западных моделей сплошь и рядом приводит к закреплению, а то и усугублению худших сторон российской практики, связанных с неэффективностью управления, коррупцией и развалом целых отраслей.

Одним из методов, точнее приемов, позволяющих сравнительно корректно проводить такого рода компаративистский анализ, является мысленный эксперимент следующего содержания. Экспертам (российским, но прежде всего западным) предлагается не переносить в Россию западные модели и формальных схемы, а наоборот, оставить в Европе их нормативную базу и модели управления, но мысленно

перенести туда наши министерства и ведомства с их стилем общения, административными навыками и кадровым составом, наши возможности разрешения конфликтов между властью и гражданами, в данном случае представителями научного сообщества, наши экономические возможности и криминальные или полукриминальные практики их использования... После такого мысленного эксперимента лишние дискуссии, как правило, прекращаются.

Однако все это не снимает реальной проблемы нового диалога науки с обществом — важнейшей черты постнеклассической стадии развития знания. Уже сейчас видно, что формализованная оценка результативности отечественной науки используется не только как якобы валидное основание для принятия управленческих, организационных и даже политических решений, но и как средство формирования общественного мнения в отношении науки вообще и гуманитарного знания в частности. Такое отношение в период прохождения закона о реформе академической науки формировалось как заведомо негативное. Предвзятость здесь была так же очевидна, как и слабая осведомленность в самих основах научной библиометрии. Но в то же время здесь обозначился явный дефицит готового контента, который российская наука могла бы оперативно представить обществу как альтернативный материал, демонстрирующий ее реальное состояние, достижения, перспективы и востребованность — в настоящем и будущем. Выяснилось, что если наука не занимается выстраиванием такого диалога с обществом и властью, она рано или поздно все равно оказывается перед необходимостью защиты себя, но уже не как защиты проекта или диссертации, а как защиты от внешнего нападения. При этом всегда оказывается, что выстраивание альтернативной точки зрения на состояние и перспективы науки элементарно опаздывает и нередко превращается в размахивание руками после драки.

Как бы там ни было, часто именно внешние атаки заставляют научное сообщество в спешном порядке компенсировать дефицит адекватной и хорошо репрезентированной самооценки. Классический пример здесь — история с «Философским домом» — зданием Института философии РАН (Волхонка, 14), на которое два десятилетия претендовал находящийся по соседству Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Когда угроза стала реальной, Институтом была собрана огромная по объему, почти исчерпывающая и более чем авторитетная информация о достижениях отечественной

философии в лице ИФ РАН, а также о мировом статусе этой исследовательской организации, об отношении к ней и к ее работе со стороны мировой философской и социогуманитарной научной общественности. Это позитивное отношение, в частности, было выражено такими предельно авторитетными именами и исследовательскими центрами, что может рассматриваться в качестве своего рода международного аудита научной деятельности Института философии РАН. В сравнении с весом такого «аудита» все статистические выкладки библиометрии, к тому же основанной на ущербной и некорректной статистике, оказываются избыточными и создающими заведомо ложную картину¹.

При этом в любом случае надо учитывать, что сколь угодно полная и точная статистика публикаций, индексов цитирования и пр. не дает автоматической и формально исчислимой оценки, а лишь создает один из образов положения дел. С этой точки зрения переписка такого рода (подобная упомянутой выше) всегда дает другую составляющую образа интегральной оценки, причем гораздо более точную, существенную и весомую. Одно дело, когда оценку дают мировые авторитеты, а другое, когда это делает функционер на основе сомнительной статистики и с некорректным использованием методик, не говоря о методологии.

Но как бы там ни было, в целом приходится констатировать, что наше научное сообщество далеко не в полной мере оказалось отобилизованным для отражения обвинений в слабой результативности большинства исследований. Кроме того, в нужный момент не оказалось модели оценки результативности, которая была бы альтернативной грубым формализациям и вместе с тем основывалась бы на методологии, более объективной и приемлемой для самого научного сообщества.

Это обстоятельство является на данный момент весьма критичным, в особенности в связи с тем, что традиционные формы оценки результативности (репутация, признание, «кредитная история» исследователя) оказались в последнее время существенно девальвированы тем, что научное сообщество не смогло в должной мере противостоять проникновению в него сомнительных работ и персонажей под давлением политики, власти и бизнеса.

¹ См. перечень материалов, поступивших в адрес первых лиц государства, органов власти и самого ИФ РАН, содержащих оценку научной и общественной деятельности Института. – Волхонка, 14. Место имеет значение. М.: ИФРАН, 2010.

Но гораздо важнее тот факт, что сталкиваясь с проблемой самооценки и экспликации собственной результативности, а в более широком смысле и с проблемой обоснования своей нужности обществу (более пафосно говоря, человечеству), наука вновь и вновь, а часто и на совершенно новом уровне обращается к пониманию собственных оснований, к иному толкованию смысла научной деятельности. При этом вновь проявляются, разделяясь, смыслы утилитарные и сверхутилитарные, всплывают проблемы «ценности для» хотя бы и для самых высоких целей — и самооценности познания.

С этой точки зрения оказывается особенно важным проводить различия между двумя основными типами наук и в полной мере учитывать специфику собственно социогуманитарного знания, а тем более философии.

4. Специфика социогуманитарного знания с точки зрения анализа его ценности и оценки результативности исследований

В первом издании результатов данного проекта, в книге «Измерение философии. Основания и критерии оценки результативности философских и социогуманитарных исследований» (материалы этой книги большей частью вошли и в настоящее издание), были отмечены многие обстоятельства, делающие нерелевантным использование стандартной библиометрии применительно к философии и социогуманитарному знанию. Далее эти факторы будут описаны и проанализированы более подробно. Здесь же важно исследовать фундаментальные особенности философского и социогуманитарного знания в связи с возникновением этих факторов.

В принципе, для непредвзятого взгляда достаточно было бы сослаться на опыт ряда передовых с точки зрения развития науки стран, в которых использование библиометрии (библиометрики) просто-напросто запрещено в отношении целого ряда точных и естественнонаучных дисциплин и для гуманитарных наук в целом. В частности такой запрет введен в Великобритании, причем не каким-либо ведомственным актом и даже не правительственным решением, а именно актом парламента, то есть на законодательном уровне. В нашей ситуации такой опыт часто игнорируется; при этом применяются устаревшие, а то и запрещенные методики, выдаваемые за последнее

слово в оценке результативности мировой науки. Однако в нашем исследовании (по крайней мере в этой его части) важнее проанализировать глубинные свойства философской и социогуманитарной науки, делающие такие запреты фундаментально обоснованными. Здесь парадоксальным образом аналитическая и административная практика наводит на размышления о специфике гуманитарного, а не наоборот, когда дедукция из фундаментальных посылок дает конкретные, практические выводы.

Одна из наиболее очевидных лакун, делающая использование стандартных библиометрических методик нерелевантным применительно к нашему предмету, связана с тем, что основные используемые в экспертизах базы данных работают со статьями, но не с книгами, в то время как в гуманитарных науках и философии именно книга является основным модулем представления результатов. Далее эта проблема обсуждается в нашей книге более подробно, но здесь важно понять, с чем вообще связано это различие. От понимания этого вопроса зависит и сама интерпретация результата в науках разных типов.

Одним из аргументов, которые приводят для снятия напряжения в этом вопросе, является следующий: неявно подразумевается, что основные результаты книг сначала все равно публикуются в статьях, предваряющих сводный результат. Это позволяет апробировать гипотезы и предварительные выводы, оценить реакцию и при необходимости скорректировать текст или даже саму позицию в книге.

Контрдовод здесь заключается в следующем. Такое двухступенчатое представление результатов, конечно, имеет место, но вовсе необязательно, и если это не учитывать, из анализа выпадут целые издания, выдающиеся результаты, а то и сами авторы, предпочитающие работать в большой форме, а статейный формат считающие сугубо вторичным и служебным.

Далее, можно считать достаточно редким случаем, когда книга механически нарезается на главы, предварительно публикуемые в виде статей в рецензируемых и иных журналах. Гораздо чаще, если что-то и печатается в статейном формате, то лишь часть или отдельные выжимки. И тогда возникает вопрос, можно ли в принципе сводить содержание книги как результат к такого рода экстракту или изъятиям?

Статья в естественных и точных науках является концентрированным изложением выводов большой предварительной работы, чаще многолетней. За публикацией может стоять крайне длительный и

сложный эксперимент, который, собственно, и есть та скрытая работа, что обеспечивает публикуемый результат. Этот эксперимент может быть мысленным, когда, скажем, для обоснования вывода приходится перебирать многочисленные варианты и версии, гипотезы и схемы доказательств. Это сути не меняет: работа остается за кадром, презентуется ее итог, и это нормально.

В социальных и гуманитарных науках бывает нечто подобное, но это далеко не самый частый случай и тем более не правило. Чаще сама книга, ее текст в полном объеме как раз и является одновременно и доказательством как «предварительным экспериментом» и, как ни странно, «внедрением результата». В этом смысле пресловутая проблема внедрения должна быть отчасти пересмотрена. То, что, например, в технических науках является продолжением ранее проделанной фундаментальной и прикладной работы, в гуманитарном знании сплошь и рядом входит в состав одного и того же издания, когда сначала эксперимент и эмпирия обобщаются, систематизируются, анализируются и выводят на доказуемые гипотезы и обоснованные выводы концепции, а затем тут же все это рассматривается в сугубо прикладном ключе и излагается в формате, который по аналогии с техническими науками можно было бы защищать патентами и рассматривать как опыт внедрения.

Эти сравнения отнюдь не являются упрощением и чем-то поверхностным. Здесь заложено принципиальное различие. Внедрение в точных, естественных и технических науках осуществляется вне текста. Такое возможно и в социогуманитарном знании, когда так называемые практические выводы и рекомендации получают «утилизацию» в разного рода проектах, программах и реальных действиях, например, общественно-политического или социально-экономического характера. Эта сторона «внедрения» здесь легко учитывается, в частности заполнением граф, в которых указывается, в какие органы власти были направлены те или иные материалы, подготовленные в том числе на основании исследований и разработок, представленных в статьях или книгах. Однако в философской и социогуманитарной работе гораздо важнее тот факт, что реальным и самым что ни на есть практическим внедрением текста является его... чтение. Эти области знания работают с сознанием непосредственно, а если и опосредованно, то тоже через сознание. В точных, естественных и технических науках реализация в итоге должна осуществиться в материале или, как

минимум, в проекте, который, в свою очередь, также предполагает «физическую» реализацию. В философии и гуманитаристике главным и конечным пунктом приложения усилий является изменение сознания (в самом широком смысле этого слова, то есть с учетом всех возможных изменений ментальности, поведенческих стереотипов, автоматических реакций, психологического и эмоционального строя и пр.). В этом смысле «внедренческой площадкой» для философии и социогуманитарной науки является весь объем текста, со всеми его логическими, эстетическими, психологическими и пр. нюансами. Здесь потенциал суггестии и иллюкутивная сила текста часто не менее, а то и более важны, чем чистое рациио. Естественно, никакими компактными изложениями результатов большой работы в статейном формате этот потенциал книжного текста не передается.

Важно также учитывать различия в политике цитирования в обычных статьях и в книгах, а также в статьях большого и особо большого формата. В первом случае ссылка на статью означает прежде всего ссылку на полученный результат. Во втором случае не менее, а то и более часто встречаются цитаты, приводящие высказывание, но не интегральную мысль работы в целом и даже не какую-либо ее второстепенную идею. В этом случае ценность цитирования и связанных с ним ссылок с точки зрения оценки результативности резко снижается: понятно, что удельный вес ссылки на концепцию работы или цитаты отдельного суждения весьма различен. Кроме того, такой способ цитирования многократно облегчает целенаправленное взаимное накачивание перекрестными цитатами с целью искусственного повышения показателей цитируемости.

Таким образом, мы оказываемся в парадоксальной, внутренне противоречивой ситуации: с одной стороны, не учитывать книги в философии и гуманитаристике нельзя, а с другой – статистика ссылок и цитирования здесь имеет существенно иной смысл и оценочный потенциал, нежели в стандарте научной статьи в позитивных науках.

Здесь важно также учитывать, что влияние текста на сознание осуществляется необязательно в непосредственном контакте читателя и книги. Помимо непосредственного чтения есть еще расширение влияния текста через множество медиаторов разных ступеней и векторов. Этот факт не только задает новые, дополнительные требования к оценке результативности философских и социогуманитарных исследований, но и подводит к более сложному пониманию процессов

функционирования такого рода текстов в научном и общественном смысловом пространстве.

***5. Особенности жизни философского и гуманитарного текста.
«Расширенное воспроизводство» и «негативная герменевтика»***

В свое время автор данной главы специально рассматривал особенности этих процессов в своем разделе неопубликованной монографии «Бытие сознания», которая готовилась в Институте философии РАН под руководством Б.А. Грушина. Раздел назывался «Функционирование сознания. Процессы расширенного воспроизводства» (наряду с процессами производства, распространения, обмена как «простого воспроизводства» и развития). Речь шла о смысловых мутациях в процессе понимания текста и его дальнейшей ретрансляции. В живой реальности, если уж совсем без абстракций, эти содержания воспроизводятся именно расширенно: люди чего-то не понимают или недопонимают, толкуют чужие слова и тексты по-своему, ретранслируют их в измененном виде и творчески развивают в зависимости от особенностей своей ситуации или от изменений во времени. Строго говоря, в жизни только расширенное воспроизводство и есть, а если даже допустить возможность простого воспроизводства сознания, то это был бы частный, редуцированный, предельный случай или даже просто пустое множество. Как-то трудно допустить абсолютное тождество содержаний хотя бы в двух коммуницирующих сознаниях, хотя бы это и были стопроцентно родные души. Более того, рассматривалась также концепция «негативной герменевтики»: в определенных ситуациях интегративную роль может играть не понимание (как это постулировано феноменологической социологией), а именно моменты непонимания, не осознаваемого изменения смысла. В советской модели эти факторы были особенно значимы, поскольку именно они позволяли консолидировать общество на мутирующих или специально трансформируемых смыслах как в социальном пространстве (между разными социальными группами и массовидными образованиями), так и в историческом, политическом, идеологическом и т.п. времени.

Специфика такого рода процессов состоит в том, что дробление и растаскивание смысла, его видоизменение, на определенных этапах и в определенных ситуациях играет именно интегрирующую роль: текст

трактуют как свой самые разные субъекты-интерпретаторы. Схема интеграции через непонимание в полной мере работала в идеологии советского периода, когда одни и те же канонические тексты идеологии воспринимались по-разному в разных точках социального пространства и по-разному трактовались в разные периоды времени. Но при этом выявление разночтений такого рода всегда было надежно заблокировано. Нетрудно представить себе, какие трещины прошли бы в советском обществе, идеологически интегрированном на этих разночтениях, если бы политическим и социальным субъектам стали прозрачны сознания их контрагентов и они бы увидели, что в действительности эти контрагенты имеют в виду, когда озвучивают те или иные идеологические тексты. У Лессажа хромой бес «вскрывает» крыши ночных домов и показывает студенту ночную жизнь горожан. Этот образ использовался еще в рукописи четвертой главы «Бытия сознания». Если бы можно было, как снятием крыши, вскрыть черепные коробки социальных субъектов советского общества и показать их содержимое всем заинтересованным лицам, они увидели бы, насколько в действительности различно понимаются одни и те же интегративные символы. Например, в партаппарате, в отделе пропаганды, у прогрессивно настроенной интеллигенции и в мозгах пролетариата. Или, например, в разных республиках СССР, в которых идеологические модели могли превращаться во что угодно, осаживаясь на местную традицию, будь то Центральная Россия, Средняя Азия или Прибалтика. Если бы не эти скрытые разночтения, якобы «идеологически единое» общество разорвалось бы, как старый снаряд.

Феноменологическая социология пыталась решить главный вопрос: каким образом общество интегрируется посредством того, что люди каким-то образом все же понимают друг друга. Но выяснилось, что некоторые парадоксальные реалии идеологической работы и жизни показывают, что общество в не меньшей мере может интегрироваться именно через непонимание, через неосознанные мутации смысла, не воспринимаемые как таковые. Исследуя такие ситуации, впору говорить о своего рода негативной герменевтике, которая в равной мере продуктивна и в синхронных, и в диахронных контекстах. Так, марксизм по-разному понимался в разных точках социума и даже соцлагеря, что позволяло ему быть эффективно интегрирующей идеологией. Как только что было показано, он же весьма по-разному понимался в идеологическом отделе ЦК, прогрессивной партийной журнали-

стикой, представителями «философии оттепели» (например, у тех же «диалектических станковистов») и идейно озабоченной творческой интеллигенцией, или, скажем, в рабочей среде, в системе партполитпросвещения. Достаточно разный марксизм исповедывался примерно в одно и то же время в СССР, в Китае и на Кубе или в бунтующей Франции. Но этот же марксизм весьма неоднозначно понимался и на разных этапах жизни советского общества. Можно утверждать, что на протяжении советской истории мы пережили несколько разных марксизмов. За этот период Запад сменил ряд господствовавших философий и политических теорий, переходя от одной доктрины к другой, тогда как СССР все это время упорно перечитывал и переосмысливал одну и ту же философию. Или вчитывал, если воспользоваться термином Мандельштама. Идентичность «лейбла» сохранялась, но начинка активно правилась, что и обуславливало повышенные интегративные возможности идеологии.

Хотя интегративность такого рода может быть поначалу очень эффективной, в конечном счете она так или иначе оказывается весьма неустойчивой. В чем-то это напоминает российский способ ведения коммерческих дел, когда люди быстро и легко сходятся в начале предприятия, не проговорив все до конца и, по сути, сдружившись на недопонимании друг друга — а потом скандально, иногда со стрельбой, расходятся после вынужденного прояснения исходных позиций. В начале 90-х это вообще было явление повальное.

Нечто подобное произошло с марксизмом. Он не сменился в ряду других не менее достойных предшественников и преемников в идейном окормлении общества (как это бывает в спокойно «ротируемых» идеологиях), а именно обрушился: был всем, а стал ничем. Причем во многом незаслуженно — если иметь в виду суть самой философии, а не способ ее трансляции и функционирования в идеологии и политике. Если Делёз и Гваттари могут спокойно выносить термин «капитализм» как концептуальный даже в название книги, то в нашей философской и политологической лексике это слово почти перестало употребляться. Типичная для нашего этикета ситуация: капитализм есть, а слова такого нет.

Все это приводится здесь для иллюстрации и обоснования мысли о том, что философский и гуманитарный текст существует в совершенно ином режиме, нежели в прочих науках, и это нельзя не учитывать при выработке подходов к оценке его «результативности» — начиная с вы-

бора «модуля» (статья в журнале или сборнике, глава в коллективной монографии, книга). В философии и гуманитаристике, по большому счету, содержание вообще неотделимо от формы. Иначе изложенная философская или гуманитарная концепция во многом будет уже другой концепцией. В постмодернистской философии это категорично, радикально и утрировано, например, у Ж. Делёза и Ф. Гваттари в «Ризоме», в «Тысяче плато» прямо говорится о том, что форма такого рода текста в определенном смысле и есть его содержание. Это еще один довод, показывающий, насколько варварской выглядит оценка результативности философских и социогуманитарных исследований без учета именно книжного формата. Более того, дело даже не в локальной ошибке, хотя бы и грубейшей, а именно в полном непонимании специфики предмета, выражающемся в том, что вопрос о такой специфике здесь не ставился, не ставится и даже не имеется в виду.

6. Философия в истории знания. «Ценность изделия» и «модели прогресса»

Как только ставится вопрос о текущей, оперативной оценке философских исследований, тут же автоматически должна возникать и проблема гораздо более общего характера: как оцениваются философские концепции в самой истории философии, можно ли здесь вообще говорить о развитии, прогрессе и т.п., по крайней мере в обычном смысле этих слов? В итоге может оказаться, что постановки такого рода вопросов, обычные для позитивной науки, в данном случае некорректны или вовсе лишены смысла. И тогда надо искать какие-то совершенно иные подходы к оценке интеллектуальной работы в области философии.

В этом плане принципиально важно разобраться в сопоставлении того, что можно было бы условно назвать «моделями прогресса», имеющими место в истории науки, искусства и философии. Для тех, кто понимает, насколько все непросто с использованием самого понятия прогресса применительно к данным видам интеллектуального и художественного творчества, сразу оговоримся, что именно об этом и пойдет речь. Более того, здесь будет учитываться и особо критическое отношение к самой идее прогресса, с которым мы столкнулись в ситуации постмодерна. Но даже если понятие прогресса будет здесь в зна-

чительной мере дезавуировано, это не значит, что анализ истории науки, искусства и философии в этом аспекте не продуктивен. В данном случае отрицательный результат тоже будет результатом — и каким!

Для такого сопоставления надо найти общее понятие, которое могло бы включать в себя одновременно все, что производится в этих видах деятельности. Допустим, в науке это теория, в искусстве — произведение, в философии — концепция. В принципе можно было бы все это считать «произведениями», и это подчеркивало бы, что нас в данном случае интересуют прежде всего формальная оценка и форма процесса, а не конкретные содержания. В этом смысле вполне можно говорить о произведениях не только в художественном, но также и в научном и философском творчестве. Точно так же можно было бы говорить и о произведениях техники. Однако, чтобы снять налет некоторой избыточной пафосности, можно также пользоваться во всех этих случаях и вовсе приземленным, прозаическим термином — «изделия». Это слово сразу вводит возвышенные виды творчества в нормальный обиход, в котором люди так или иначе производят «вещи», даже если это шедевры искусства, научные построения или философские прозрения.

Если для начала взять техническую сферу, то здесь можно увидеть модель линейного прогресса, в котором последующие изделия по целому ряду основных параметров очевидно превосходят предшествующие. Все необходимые оговорки здесь известны, но они не отменяют именно кумулятивного прогрессизма техники. Так, каждый принципиально новый автомобиль разгоняется до 100 км в час за меньшее количество секунд и потребляет при этом меньше топлива. Понятно, что это движение к совершенству ограничено лишь скоростью света и пределом стопроцентного КПД. Еще раз: можно сколько угодно оспаривать линейность этого развития, да и сам факт прогресса (например, исходя из экологических, моральных, физиологических и прочих соображений), однако прогресс собственно технической составляющей здесь все же остается принципом, таким же неоспоримым, как, скажем, наращивание мощности вычислительных машин.

Если ограничиться классической фазой и не заходить на территорию постмодерна, то аналогичный прогресс обнаруживается и в науке, в движении познания. Схема была примерно та же: есть абсолютный умопостигаемый предел познания — сама по себе «объективная реальность» или истина в последней инстанции, к которой можно

приближаться асимптотически, никогда ее не достигая. Пределом формализации этой модели прогресса в истории науки был так называемый принцип соответствия, согласно которому каждая новая парадигма включает в себя предыдущую как частный случай: классическая механика как частный случай общей теории относительности, общая теория относительности как частный случай специальной теории относительности и т.д. Сейчас уже ясно, что все оказалось гораздо сложнее, но для целей нашего рассуждения можно принять этот принцип как основополагающий для понимания модели прогресса в науке.

Можно сказать, что искусство в этом плане устроено прямо противоположным образом: здесь нет прогресса в обычном смысле слова, и каждое новое шедевральное изделие (а только они и представляют искусство в самом строгом смысле слова) ни в коей мере не является усовершенствованием предыдущего — ни в авторской биографии, ни в истории течения, жанра, вида искусства, художественной практики в целом. Если в истории науки мы видим восходящий график, то история искусства — это горизонт, на котором располагаются равновеликие, равноценные «экземпляры совершенства».

В существовании такой практики для человека и человечества есть свой глубинный смысл. Во всем прочем человек может лишь приближаться к идеалу совершенства, но при этом всегда остается непреодолимой дистанция до этого идеала, и ее наличие рождает некоторый комплекс. Тогда возникает особый род деятельности, который в рамках культа формы («целесообразность без цели» и «закономерность без закона» в эстетика Канта) достигает этого нигде более не достижимого совершенства, производя изделия, принципом качества которых является банальное «ни прибавить, ни убавить». Смысл этого художественного перфекционизма по-разному проявляется в разных ракурсах, но он по своему значению универсален и относится даже к науке¹.

В этом смысле философия занимает некоторым образом промежуточное положение между позитивной наукой и искусством, художественным творчеством. Здесь в истории есть одновременно и лестница, и плато, восходящий график и горизонталь. Платон, Кант и Хайдеггер в истории философии, а главное, и в актуальной философии текущего времени соотносятся друг с другом не как Пракситель

¹ См.: Рубцов А.В. Художественное произведение как модель «завершенного» познания // Вопросы философии. 1979. № 10. С. 110–121.

с Роденом или Бах с Вагнером, но и не как Ньютон с Эйнштейном. Здесь своя модель «горизонтального прогресса», и это имеет прямое отношение к пресловутой проблеме оценки результативности. Даже если вы оцениваете сопоставимое значение того или иного философствующего автора только на фоне его коллег-современников, вы уже совершаете фатальную ошибку: в потенциале здесь диалог ведется сразу со всей историей философии, с любым автором на выбор, и никогда не известно, что именно из написанного сейчас всплывет завтра в качестве предельно актуализированного, причем не только в профессиональной философии, но и в обычной истории идей. С этим приходится считаться; если же этого не учитывать, вы попадете в положение человека, решившего заняться венчурным бизнесом на минимальном, а лучше вовсе исключенном риске. Идеология аудита результативности пока именно так и выглядит, хотя это вряд ли разумно даже на сугубо бытовом уровне. Например, среди рыболовов популярна следующая мудрость: если вы не отрываете блесен, значит, вы не там ловите.

Если же не ограничиваться классической фазой, но взять также постнеклассическую науку, более или менее новое в художественной практике (например, актуальное, серийное и т.п. искусство) и постмодернистские опыты в философии, идеология прямого рейтингования результативности окажется здесь еще более сомнительной.

На этом фоне такого рода аудиты результативности выглядят применительно к философии и социогуманитарным наукам тем более странными, что капиталоемкость этих исследований исчезающе мала в сравнении с современной наукой, требующей порой гигантских вложений, а потому и нуждающейся в осмысленном выборе приоритетов, стратегических направлений. Формализованный мониторинг результативности в гуманитаристике может оказаться много дороже, чем потенциальная экономия, а то и исследования в целом по крайней мере в проблемной зоне, то есть вне того поля, значение которого очевидно и не обсуждается.

И наконец, проблема радикального изменения моделей прогресса в постсовременную эпоху. Не говоря уже о принципиально важном отказе от идеологии линейного прогрессизма в истории вообще и в истории чего бы то ни было, в том числе философии, искусства и науки, здесь имеет место своего рода конвергенция моделей прогресса, выражающаяся в стирании отличий между ними и в их заметном сбли-

жении. Новейшая наука пересматривает модели линейного прогресса в позитивном познании; художественная практика (например серийное искусство) по-новому выстраивает взаимоотношения и между изделиями, и в их исторической последовательности; философия постмодерна и постмодернизма также существенно иначе вписывает свои произведения в процессы познания и практики, нежели это было в эпохи классики и модерна.

Все это резко меняет и характер отношения между «изделиями», но и сами способы проявления взаимоотношений между авторами и текстами, включая политику ссылок и цитирования. Стандартная библиометрия в этих условиях оказывается дважды нерелевантной.

7. Философия в себе и в публичном пространстве.

Критика очевидностей и воспитание рефлексии

Применительно к философии парадоксальным образом могут быть одинаково справедливы две прямо противоположные позиции.

Философия, с одной стороны, по праву считается одним из самых эзотерических занятий. Философские тексты, как правило, отличает совершенно особый, специальный язык, малопонятный, а то вовсе не понятный людям, философией не занимающимся и специальной подготовки не имеющим. Далее, это особая логика рассуждения, также часто не доступная обывателю (приятель как-то сокрушался по поводу моих текстов: я их иногда не понимаю, даже когда все употребленные в них слова мне знакомы). Наконец, часто не понятен сам смысл этого занятия: зачем эти умственные мучения нужны кому-то, кроме автора, да и ему самому? Практический смысл философии при этом отрицается; более того, именно практическая незаинтересованность воспринимается здесь как признак и залог собственно «философствования», и в этом есть своя правда. Согласно легенде и традиции, именно отрешенность от «суеты сует» открывает путь к мудрости, «истинному знанию», к самой сути этого мира, да и других тоже. Что-то вроде снятия конфликта интересов в самом высоком, радикальном и полном, всеобщем смысле этого слова.

Во всех рассуждениях о науке вообще, о гуманитарном знании и в особенности о философии крайне важно постоянно удерживать в поле зрения этот совершенно особый статус самоценности, более

определенно выраженный только в искусстве. В этом смысле вопрос: зачем нужна философия в его прикладном, утилитарном значении во многом просто некорректен, поскольку адресуется к высшей, предельной форме чистой интеллектуальной активности. В свое время, еще будучи в аспирантуре, я постоянно сталкивался с целой командой физиков того же возраста, требовавших ответа, зачем им как профессионалам в своей области нужна философия. Без каких-либо ссылок они, по сути, воспроизводили классическую позитивистскую формулу «наука сама себе философия». Но даже если оставить пока в стороне вопрос о том, что позитивная наука всегда неявно содержит в себе философские позиции как невысказанные идеологические суждения и постулаты, как незлеминируемые теоретические термины и положения, отчасти срабатывал в таких дискуссиях именно довод о некорректности самой постановки вопроса: с точки зрения познания как такового вопрос формулируется обратным образом — это наука работает на философию, задача которой состоит в построении максимально полной и по возможности «завершенной» картины мира, включающей сознание и познающего субъекта в качестве неотъемлемой и активной составляющей. Сейчас, после всех перипетий неклассики и постмодерна в таких терминах и понятиях уже вообще мало кто рассуждает, но тем не менее аргумент самоценности остается. С таким же успехом можно спрашивать, зачем нужны нефигуративная живопись или, скажем, музыка, если это не марши. И даже если принять, например, что музыка нужна для танцев, тут же встает вопрос о том, зачем нужны сами эти танцы. Без категории самоценности здесь вообще невозможно понять смысла целого ряда наиболее авторитетных и изысканных человеческих занятий. Если этого не понимать, «результативность» танцев придется измерять по приросту мышечной массы и числу состоявшихся знакомств, заключенных браков и вкладу в решение демографической проблемы. Идеология «аудита результативности» на начальной стадии реформы РАН примерно так и выглядела; более того, от рецидивов такого утилитаризма в полной мере не избавились до сих пор.

В качестве эмпирического аргумента можно привести тот факт, что по негласным, но всеобщим оценкам лучшие, самые сильные, изощренные и пронизательные умы в истории человечества принадлежали именно философии. В известном смысле и все по-настоящему великие ученые в какой-то момент становились в своей науке, а то

и вне ее именно философами — или не были великими. Причем они становились философами именно в тот момент, когда они, выходя на предельные обобщения, вдруг вскрывали возможность сомнения в отношении очевидностей — того, что «понятно» всем, разумеется «само собой», а потому не промышливается.

Эту функцию философии как критики очевидностей можно с полным правом генерализировать. Если гигантские слои непромысливаемого «само собой разумеющегося» присутствуют даже в науке, можно представить, какие залежи всего этого филистерского интеллектуального богатства складированы мертвым грузом в обыденном сознании. В том числе в бесчисленных архетипах и штампах сознания, имеющего дело с культурой, политикой, экономикой, социальными отношениями и пр.

В этом смысле философия работает как в отношении конкретных мыслительных клише, так и в качестве деятельности, культивирующей и собственно рефлексии, и интеллектуальную дисциплину как таковую. В таком ракурсе философия оказывается наиболее беспощадной и требовательной к себе разновидностью мышления, познания и самопознания. Даже позитивная наука дает себе известные поблажки, не доходя до предельных оснований, а то и вовсе отказываясь их обсуждать как мешающие решать текущие познавательные, исследовательские задачи. Философия по мере сил дает образцы такой бескомпромиссности и тем самым тренирует в человечестве способность прикладывать максимально концентрированные усилия по выходу за пределы очевидного.

Для России это всегда было особенно актуально: «И позже всего просыпается в русской душе логическая совесть — искренность и ответственность в познании»¹. Г. Флоровский рассматривал эту беду русского катастрофизма предельно широко — как свойство души крайне впечатлительной, а потому не успевающей вернуться к себе. Отсюда удивительная последовательность именно в отречениях и верность интеллектуальными изменам.

Если брать этот вопрос совсем контурно, можно было бы остановиться на той особой роли в деле введения в России регулярной философии, которую сыграл здесь советский марксизм. Безотносительно к содержанию этой доктрины и даже независимо от того факта, что

¹ *Флоровский Г.* Пути русского богословия. Париж. 1937. С. 501.

внедрилась она большей частью нерелефлексивными штампами, идеологическими клише, важно учитывать и то движение в сторону интеллектуальной дисциплины и критичности, которое имело место и в лучших экземплярах профессиональной философии, и даже в до-революционных рабочих кружках, в которых не просто насаждалось новое клише, но именно снималось клише старое, причем с участием рациональной процедуры, хотя бы и минимизированной. Можно показать, какую поистине историческую роль сыграли рациональный марксизм и само учение об идеологии и революции в деле развенчания... самого марксистско-ленинского учения, а затем и обрушения режима в целом.

В этом плане философия всегда содержит в себе угрозу для власти и политики — даже когда она активно участвует в рациональной легитимации строя. В той точке, в которой философия отделяется от идеологии, она начинает учить человека думать — даже если она учит человека думать «правильно». Чем-то это напоминает классическое образование, в котором изучение мертвых языков, казалось бы, бесполезное, приучало мозги к систематической работе.

Тем не менее власть, как правило, покровительствовала философам, находя легитимацию даже не в философических текстах, а в самом ее присутствии. Можно, конечно, считать, что рациональное обоснование власти гораздо больше работало на консолидацию режимов, нежели зачатки критической мысли — на подогрев фронды. Однако здесь многое значила и сама модель: если эта власть от Бога, значит, она должна быть максимально плотно окружена и изделиями «божественного» качества, и авторами, дар которых тоже имеет божественное происхождение (первоначально талант как дар и был даром именно божьим). В этом смысле философия была атрибутом укорененной, сильной власти вовсе не только «просвещенной». Если же брать только идею силы, то по-настоящему сильная, уверенная в себе власть демонстрирует эту свою железобетонную укорененность всеми возможными способами, вплоть до приближенных шутов, которым позволялась едва ли не любая крамола. И наоборот, страх перед свободной мыслью — верный признак режимов в себе неуверенных, не чувствующих себя в достаточной мере легитимными.

Проблема эффективности и востребованности такого знания является двусторонней: это и способность что-то существенное дать — но и готовность (или неготовность) предложенное взять, а тем более

принять и использовать. Не будучи востребованными, некоторые функции философии если не отмирают, то во всяком случае засыпают.

Если всерьез относиться к задачам модернизации, нетрудно убедиться в том, что в интеллектуальном плане это проблема в первую очередь именно философская. Именно философский взгляд на вещи в полной мере вскрывает тот факт, что задача смены вектора развития с сырьевого на инновационный, по сути, означает преодоление извечной российской ориентации на сырьевой экспорт, начиная с леса, льна, пеньки и воска и заканчивая нашим нынешним слегка модернизированным топливно-энергетическим и нефтегазовым комплексом. Это задача много сложнее построения планового хозяйства или, наоборот, обустройства на его руинах некоего подобия цивилизованного рынка. И именно философия в состоянии в полной мере показать, что эта задача не решается только лишь усилиями в области экономики и технологий, что она также по необходимости затрагивает институты, социальную сферу, политику, идеологию и т.д., вплоть до глубинных архетипов сознания.

Сейчас в обществе ведется на редкость активная полемика по части стратегии и перспектив развития, методов выхода из назревающего тупика и пр. Специальный анализ мог бы показать, сколько во всем этом дискурсе латентной, толком не осмысленной философии, построенной на обрывках знаний и выдернутых цитатах из свежеканонизированных классиков. Профессиональная философия могла бы многое в этом потоке расчистить и сделать более фундированным и осмысленным, однако на это, как уже говорилось, помимо предложения нужен спрос.

8. «Гуманитарный разворот» в публичной активности власти. Реабилитация идеологического

В последнее время публичная активность власти явно смещается в сферу сознания, идеального. На первый план, таким образом, выходит гуманитарная составляющая: принципы, идеи, ценности. Впервые за долгие годы на высшем уровне прямо заговорили об идеологии. Ключевые понятия здесь (как бы к ним ни относиться) — духовные скрепы, идентичность, патриотизм. Можно говорить о своего рода гуманитаризации публичной политики, хотя и безотносительно к каче-

ству этого процесса, его интеллектуальному обеспечению и возможным последствиям.

Особая тема — причины такого разворота, очевидным образом связанные не только или даже не столько с духовными запросами политиков, а тем более общества, сколько с усложнявшейся ситуацией в реальной сфере — в экономике, социальной политике, в продвижении инноваций и объявленной модернизации в целом.

В анализе идеологических процессов есть понятие «прореживание дискурса»: важно, что говорится, но не менее важно, о чем умалчивается, что вдруг исчезает, становясь «идеологически несуществующим».

В текстах власти экономика явно отходит на второй план и дальше. Если и говорят об инвестиционном климате, то уже не про условия деловой активности, а про коррекцию имиджа, производство впечатления. Это важно, поскольку идеальная, психологическая и пр. тому подобные составляющие экономической деятельности долгое время недооценивались. Однако в данном случае часто создается впечатление, что таким образом пытаются не дополнить, а едва ли не заменить реальную экономику, с которой дело обстоит уже не так хорошо, как казалось совсем недавно.

Инновации, высокие технологии и другие идеологические, пропагандистские хиты недавнего времени также отодвинуты на второй план в дискурсе власти и всплывают лишь в дежурных контекстах программного уровня, когда их отсутствие выглядело бы совсем скандальным. Модернизация также стала словом «нон грата». Это очевидно связано с тем, что в данных стратегических направлениях, еще совсем недавно считавшихся приоритетными, не было достигнуто заметных результатов.

Все это имеет самое прямое отношение к философским и социогуманитарным исследованиям в стране. Не будет преувеличением сказать, что в свете таких изменений социогуманитарное знание должно было бы выйти на первый план как в русле общей переориентации, так и с известной долей прагматики: смена курса такого рода нуждается в основательном интеллектуальном обеспечении.

Однако ситуация здесь может оказаться более сложной. Сопровождение нового курса в публичной активности власти вовсе необязательно может опираться именно на социогуманитарное знание и именно в его профессиональной, научной, академической ипостаси.

Часто такого рода идеологические и «концептуальные» заготовки делаются на совсем другом уровне, силами интеллектуальной самодеятельности, результаты которой подчас проще усваиваются и созидателями разного рода документов, и спичрайтерами, и самой публикой. В этом случае интеллектуальный эскорт власти может рассматривать академическую философию и социогуманитарную науку не как источник поддержки, а наоборот, как сильного и нежелательного конкурента. В таких случаях срабатывает главный принцип идеологии: представлять частный интерес как интерес всеобщий. Тогда критика пущенных в дело содержательных заготовок оборачивается не критикой качества обслуживания, а критикой самого клиента. Полемика, направленная на «экспертное» сопровождение, переадресуется самой власти, представители которой, как правило, не являются специалистами в вопросах идеологии и социогуманитарных разработок, а потому вынуждены довериться тем, кто либо и в самом деле в этом разбирается, либо всего лишь удачно представляет себя в качестве эксперта.

Возникает конкурентная коллизия, в которой конкурирующие стороны занимают отнюдь не симметричные позиции. Академическая наука, как правило, отнюдь не рвется напрямую обслуживать власть и ее критика официальных текстов и заготовок для них носит в основном незаинтересованный, беспристрастный характер, не претендующий на оргвыводы. Но с противоположной стороны иногда это воспринимается как угроза и едва ли не как претензия занять место в интеллектуальной свите власти. Отсюда понятное желание поставить на место опасного конкурента, подавить его, а в идеале самим занять позиции в области академического знания, с тем чтобы по-своему использовать этот немалый ресурс.

Особенно уязвимы в этом плане именно философия и социогуманитарные науки, поскольку, в отличие от позитивного, точного и естественнонаучного знания, в этой сфере особенно много понимающих со стороны и претендующих на самостоятельные откровения. При этом фракция власти в состоянии навязать сколь угодно неграмотную оценку результативности профессиональной науки, в том числе методами формализованной наукометрии, статистики публикаций, цитирования и пр., в то время как околосударственная самодеятельность в сфере философствования и социогуманитарных изысканий подобной, да и вообще никакой экспертной оценке не подвергается. Здесь можно продавливать идеи, которые не станут публиковать не только

ваковские, рецензируемые и т.п. журналы, но и вообще любые сколько-нибудь уважающие себя издания. В результате в официальных и программных текстах руководства периодически появляются откровенные ляпы, а то и странные сентенции с далеко идущими последствиями.

Описанному выше гуманитарному развороту способствует и переориентация официальной идеологии во времени и даже в самой онтологии мировосприятия.

Теперь место светлого будущего занимает выдающееся прошлое, место инноваций — традиция. Там, где прочили движение, хвалят устои. Это сказывается и на «метафизике» официальной идеологии.

Прагматика чаще толкает человека вперед, поэтому идею прогресса можно строить на материализме. Развернуть человека вспять может скорее нечто идеальное. Прогресс эмпиричен и приземлен, его составляющие можно пощупать руками и инструментом. Ценности прошлого обычно все в сфере высокого, возвышенного, заоблачного — святого. И даже когда России прочат нравственную миссию именно в новом, будущем мире, ничего свежего изобрести не выходит и остается рекламировать свои тонкие духовные ноты на фоне Запада, который опять разлагается — как в лучшие времена, когда этими миазмами у нас затягивались через железный занавес.

Таким образом, сдвиг интереса к идеальной составляющей автоматически повышает интерес к идеологии, а с ней и к философской и социогуманитарной составляющей знания.

В связи с этим нынешний всплеск идеологической активности интересно наблюдать в глубоком историческом разрезе. Если начать с советского периода, то здесь видны «качели», бросающие страну из материализма в идеализм через паузу деидеологизации, а также раскачивающие ее между культом идеологии, идеологической идиосинкразией 90-х и новым увлечением идейными играми.

В СССР был диалектический материализм, но особого свойства. В вопиющем противоречии с передовой научной теорией в реальности здесь доминировала идеология, тогда как экономика, да и материальная жизнь в целом находилась в служебном положении. В 90-е и в начале 00-х не было ничего (точнее было все, что угодно, а с точки зрения идеологии государства это практически ноль). Теперь в жизни доминируют сугубая прагматика и голый меркантилизм — но государство порой напоминает идеалиста, верящего в то, что хорошие слова

отвратят людей от нехороших дел, когда жизнь ни к чему хорошему не располагает.

В СССР секретарь по идеологии был вторым человеком в государстве. В любой практической развилке выбирали самый непрактичный вариант, если это был вопрос «политический» (то есть идеологический). Всеобщий аскетизм в такой конструкции — замковый камень. Стоит свернуть с правильного пути на дорожку «растущих потребностей», как идейное меркнет как таковое. Поэтому к концу 80-х идеологию открыто высмеивали, а пауза 90-х оказалась закономерной и выстраданной. До сих пор у средневзвешенного российского интеллигента при слове «идеология» рука сама тянется к тяжелым предметам.

Надо правильно оценивать эту инерцию. В наших условиях потреблять и верить — две вещи несовместные. Это в Штатах вполне себе меркантильная «американская мечта» не противоречит патриотизму, устоям морали, духовности и религии. Но главное, ей не противоречат реалии жизни и политика государства. Все, начиная с президентского послания и заканчивая стилем низового администрирования, насквозь идеологично, как и продукция Голливуда, но и вписано в реальные отношения. Поэтому даже там, где есть проблемы с короткой историей и юной культурой, они затягиваются «дымом Отечества».

Теперь достаточно отзеркалить это на нашу реальность, чтобы понять всю глубину различий. Духовные скрепы не надстраиваются над разделяющим людей богатством. Здесь разбудили консьюмеризм, усиленный вынужденной аскезой всей советской истории, — а теперь думают, будто кого-то можно увлечь идеями, явно противоречащими тому, что видно наверху пока еще не вооруженным глазом.

Вообще говоря, деидеологизация это миф (точно как в «Рудине» — как можно быть «совершенно убежденным»... в отсутствии у себя «каких-либо убеждений»?). В этом смысле запрет на госмонополию в идеологии — сам по себе ход вполне идеологический. И плохо как раз то, что идейный смысл этого запрета не разъяснен и не усвоен. Отсюда вся эта самодеятельность при власти, в которую бросается любой обученный набирать буквы и слова, а лучше сразу чужие куски. Высшие лица государства будут удивлены, узнав, откуда их советники тянут сентенции про идеологию и сколько раз уже дезавуирована идея про миссию и полномочия администрации как распорядителя госзаказа в культуре, искусстве, гуманитарной науке и пр.

Это место пусто не бывает: либо общество имеет идеологию — либо идеология имеет общество как внушаемую массу. Но именно общество, а не администрация. Как и с госзаказом, который финансирует не «государство», а налогоплательщик. Если функционер не понимает этой разницы и не знает, как общество должно контролировать средства, идущие на «идейную продукцию», значит ему лучше сменить сферу приложения усилий, творческих и управленческих.

Далее надо понимать, что идеология это не только система идей, но и система институтов. По нашей Конституции их быть не может. Поэтому до сих пор проблему пытались решить «теневой идеологией», контрабандой. Теперь, когда людей не всегда устраивает то, что власть делает руками, возникает желание отличиться умом, душой и сердцем, причем заранее и открыто присвоив себе эту миссию, роль и должность. Но без «машины идей» это дело обреченное (как Сулов без Идеологического отдела ЦК), а заново ее создать — и вовсе утопия. Остается выходить на «идеологический рынок», а это уже совсем другие навыки и компетенции.

В СССР идеология жила до тех пор, пока в марксизм могли верить и лучшие люди. И она кончилась, как только ее стали сочинять по схеме «лишь бы нравилось самим». В нынешних опытах тоже слишком много от юношеского самоудовлетворения — и это обнадеживает.

Однако в последнее время сводки с идеологического фронта все тревожнее. Сначала власть резко повело от стабильности и инноваций к духовным скрепам, идентичности, патриотизму — теперь вузы пугают «ответственными за идеологическую работу», а общество в целом — идеей отмены запрета на огосударствление идеологии.

Здесь проявляется скрытая результативность философских и социогуманитарных исследований. Утверждая, что конституция уже есть идеология, негласно, без ссылок расковычивают знакомые тексты о мифах и тщете деидеологизации, имеющие место в научных, в том числе академических разработках. Да, идеологию полностью не извести даже логически. Элиминировать идеологию до чистого языка описания не вышло даже в науке. Кроме того, как уже отмечалось, помимо привычной для нас явной (артикулированной и эксплицитной), есть еще идеология латентная и теневая, растворенная в текстах «не идеологических». Жданов хвастал, что ему хватит задачника по арифметике. Наше ТВ идеологично насквозь и вне прямой дидактики: достаточно реконструировать скрытые смыслы.

Однако все это требует не отмены данной статьи, а наоборот, ее «распаковки» — аутентичного комментария с оргвыводами и запретом на штатную идеологическую работу как на занятие незаконное, да и зряшное (идейно окормлять страну в приступах аппаратной самодельности в первую очередь кидаются служащие с претензиями).

Далее важно учитывать, что идеология — это духовная фракция власти. В монархиях, теократиях, идеократиях и пр. идейный монополизм прямо вытекает из монополии на политику. Остальное либо маргинально, либо запрещено. Если же государство учреждено запретом на «власть власти» («Мы, народ...»), то и государственной идеологии нет по определению. Здесь конкуренция идей — такой же конституирующий принцип, как в политике и экономике: превращение частной идеологии в государственную равно узурпации силы или злостному нарушению антимонопольного законодательства.

Таким образом, идеологическое есть в конституции, но только на уровне метаязыка, в идеологических высказываниях об идеологии (суждение о суждениях). Идеология свободы исчерпывается правилами игры — запретом на приватизацию идеологического. Советы править статью про идеологию не лучше захода на третий президентский срок (от чего разумно отказались).

Замена рынка идей их централизованным распределением — аналог плановой экономики... и тот же тупик. Почему в качестве официальной должна быть принята эта конструкция, а не другая? И кто это решает? Идейный диктат зависает вне поля легитимности, как и проект власти единоличной и квазидинастической (с назначением преемников). Под это не подвести ни трансцендентное помазание, ни харизму. Выбирать и менять власть приходится, ибо остальное здесь возможно только обманом и силой, а это всегда ненадолго. То же с идеями: если они не от бога или «истины», остается их свободный обмен и выбор.

Что такое «государство идеологии», мы помним — оно было еще при жизни нынешних поколений. И все помнят, как и чем оно кончилось. У нового государства шансов держаться на скрепах идеологии на порядок меньше, чем у того, старого.

Все это проливает новый свет на живую практику фактической (а не декларативной) оценки результативности философских и социогуманитарных разработок. С одной стороны, результаты этих разработок, кстати, неоднократно опубликованные, непринужденно заимствуют-

ся и присваиваются едва ли не как собственные откровения. С другой стороны, эти результаты нередко присваиваются и используются в искаженном виде, иногда просто с противоположными выводами (как это происходит с оценкой перспектив деидеологизации). Результаты такого присвоения рано или поздно оказываются плачевными. Но проблема в том, что эта деятельность не подвержена встречной оценке качества и результативности. Если в системе власти используются те или иные разработки научного сообщества, то было бы логично, чтобы и само научное сообщество имело доступ к результатам практической утилизации его разработок, а также могло бы компетентно влиять на такого рода утилизацию. Авиационному отряду, обслуживающему «борт-1», никогда не придет в голову самому вносить изменения в конструкцию аппарата, разработанного профессиональными инженерами и конструкторами. К сожалению в философии и социогуманитарной сфере такое возможно и даже распространено.

9. Наука и власть: зеркальная самооценка

Новейшее веяние последнего времени – регулярный, систематический и формализованный аудит оценки результативности исследований, научной деятельности в целом (включая не только исследовательские аспекты, но также организационные, хозяйственные и пр.). Качество такого аудита – отдельный разговор. Сейчас уже достаточно свидетельств о том, что эта работа проводится с серьезными методологическими и методическими изъянами, в том числе в ее информационном обеспечении, в фактографии. Так, серьезные претензии были предъявлены к первоначальному варианту проекта так называемой «Карты науки», созданной при посредничестве Министерства образования и науки. Обнаружены большие несоответствия между реальными данными (идущими от самих исследовательских организаций) и тем, что внесено в «Карту». Это относится не только к численным показателям, включая индексы цитирования, но и к таким элементарным позициям, как исследовательский профиль институтов (например, ФИАНу оказались приписаны «овощеводство и огородничество», «педиатрия и гинекология» и пр.).

В этой связи возникает сложная, а местами и достаточно острая коллизия: научные организации и коллективы по роду своей деятель-

ности имеют дело с разного рода систематизацией, сбором и обработкой информации, методиками анализа. Поэтому когда науку начинает исследовать та или иная внешняя структура, такая, например, как «Прайсвогтерхаус Куперс Раша», естественно возникает потребность проанализировать эти материалы с точки зрения их качества, методологической и методической фундированности. Здесь сходятся одновременно и научная добросовестность, и привычка к точности и достоверности, и понятная ревность, и, главное, живая практическая заинтересованность науки: на основании этих исследований оценивается работа институтов, делаются вполне конкретные управленческие, организационные, а то и политические выводы.

Пока такие встречные оценки носят характер скорее публицистический, в том числе когда некоторые результаты начатого аудита ученые называют откровенной «халтурой». Однако можно ожидать, что по мере появления такого рода результатов их встречный анализ будет становиться все более систематическим. Очевидно, что он не будет систематическим полностью: в этом случае ученым пришлось бы на общественных началах, в порядке личной инициативы, задаром проделать ту работу, которую нанятые государством структуры проделали за весьма большие деньги. Однако он будет достаточно систематическим, чтобы дезавуировать результаты такого рода работы в тех аспектах, в которых они заслуживают критики.

Далее мы упрямся в старую коллизию: существует ли готовность власти реагировать на такого рода авторитетную экспертизу — или же ее проигнорируют, как это уже не раз бывало в реформах академической науки?

Вообще говоря, судя по предыдущим этапам, можно ожидать прежней реакции, сводящейся к ее отсутствию. Любые аргументы, даже самые убедительные и неоспоримые, уходят в песок так, будто их не было вовсе. Однако здесь складывается несколько иная ситуация. Одно дело политические, управленческие и организационные решения в момент столкновения интересов и фатального дефицита времени на разбирательство, другое — когда со стороны власти поступают не проекты решений, а информационно-аналитические материалы, подготовка которых осуществлялась по инициативе госорганов и за счет средств федерального бюджета. В какой-то момент дискуссия рискует перейти из методической плоскости в правовую. В высших эшелонах власти уже возникли серьезные напряжения, связанные с

вдруг обнаруженной неготовностью соответствующих инстанций осуществить оперативную реализацию той практической составляющей реформы академической науки, которую продавливали с такой скоростью, с таким напором и с такой беспрецедентной эксплуатацией политической воли. Результатом этих напряжений в значительной мере и явился объявленный президентом годовой мораторий на принятие организационных и экономических решений в отношении таким образом реформируемой науки. Теперь может выясниться, что заделы, которые можно было бы использовать впоследствии в этих целях, также далеко не в полной мере адекватны ситуации и вполне могут подпасть под резкую критику компетентного экспертного сообщества.

«Карта науки» и ее аудит в целом подводят и к более общим выводам. Взаимоотношения власти и общества — в тех или иных его сегментах и проявлениях — не могут быть односторонними. Даже в текущей политике при всем желании не получается организовать одностороннее движение, в котором власть транслирует свою волю, а общество все это пассивно принимает. Тем более такое невозможно во взаимоотношениях с наукой.

Важную роль здесь сыграли в том числе переговорные процессы (если их можно назвать такими) в ходе проведения реформы науки на стадии прохождения соответствующего законопроекта. Тогда в научном сообществе были две конкурирующие позиции: добиваться компромисса — или же идти на обострение и занимать радикальную позицию в отношении планов и действий, представляющихся неприемлемыми. События развивались в два этапа. На первом этапе казалось, что первая позиция более оправданна, поскольку появлялись обнадеживающие договоренности. Далее, по мере того как эти договоренности нарушались, большее внимание привлекала позиция тех, кто предупреждал о безнадежности тактики компромиссов и предлагал более жесткое противодействие планам кавалерийского реформирования отечественной науки.

После принятия закона ситуация радикально меняется и еще в одном крайне важном отношении. В процессе прохождения закона в переговорный процесс в итоге оказался вовлечен и сам президент, и его положение здесь трудно было признать особенно комфортным. Соответственно, противодействие реформе воспринималось как противодействие высшим политическим инстанциям и «генеральной линии». В ходе реализации реформы горизонт противодействия сме-

щается вниз, в плоскость взаимоотношений академических и прочих институтов, с одной стороны, и управленческих инстанций — с другой. Это и Минобрнауки, и ФАНО, и дочерние структуры, которые будут в этом процессе задействованы. Поэтому эти структуры власти должны быть готовыми к встречной оценке своих действий, начиная с их информационно-аналитического сопровождения и заканчивая реализацией оргвыводов. Можно легко игнорировать критику проектов политических решений, но трудно игнорировать обструкцию всей той информационно-аналитической инфраструктуры, которая эту политику призвана обеспечивать. Ситуация резко упрощается и приближается к конфликту работника и работодателя, возникающего вследствие того, что работодатель недоплачивает работнику, неверно зафиксировав рабочее время и объем проделанной работы. Это уже коллизия, к которой может привести в том числе и использование неадекватных методов оценки результативности исследований. Ситуация непростая, даже с учетом некоторых особенностей нашей судебной системы.

Эта коллизия может иметь и более общее продолжение. С точки зрения общества и государства есть прямая заинтересованность в оценке результативности деятельности и самой власти, ее конкретных институтов и подразделений. В принципе к этому подходили в начале «нулевых» годов, когда готовилась административная реформа. В том числе речь шла и о формализованных оценках такой деятельности.

Естественно, идеология и методики такой оценки имеют (должны иметь) научное происхождение: они не высасываются из пальца, но базируются на данных и разработках наук об управлении, об экспертных оценках, о формализации данных и т.п.

Тогда, в ходе реализации первого этапа административной реформы, особенно далеко продвинуться не удалось, хотя в расчистке «вопросов» и «функций», содержащихся в соответствующих правоустанавливающих документах, было сделано немало, что нашло свое отражение в новой системе.

Сейчас, в ситуации явного осложнения экономического положения и, мягко говоря, неясности перспектив экономического роста, логично выглядит и экономия расходов на государственный аппарат. Помимо собственно экономической составляющей эта проблема имеет еще и политическую подоплеку: трудно экономить на социальных расходах, наращивая или даже хотя бы не сокращая расходов на

бюрократию. Все это может иметь вполне определенные электоральные последствия, а потому нуждается в самом серьезном к себе отношении.

В этом плане особенно эффективными представляются партнерские взаимоотношения науки и государства, причем участие науки в подготовке и реализации стратегии дебиюрократизации было и с точки зрения самой власти актом очевидно эффективного внедрения результатов научной деятельности, причем как фундаментального, так и прикладного характера.

В качестве первого, пилотного акта такого взаимодействия самым очевидным образом напрашивается взаимодействие академической среды, с одной стороны, и системы управления наукой – с другой. Исследование и анализ эффективности работы Минобрнауки, ФАНО и пр. могли бы стать идеальным полигоном для отработки такого рода методик. Хотя бы потому, что при всех различиях исследования и управления в этих видах деятельности есть много общего, в том числе и в оценке результативности.

Кроме того, здесь может сработать и еще одна функция оценки результативности, обсуждавшаяся выше: функция дисциплинарной техники и воспитательной меры. Если такие техники и меры и должны иметь место, то они очевидным образом должны быть встречными и взаимными, особенно в деле управления такими тонкими, интеллектуально обеспеченными и аналитически энерговооруженными машинами, как наука.

Есть здесь и важный этический момент. Известная максима: поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы они поступали с тобой. В этом плане было бы полезно, чтобы методики, обращаемые управляющими инстанциями на оценку результативности науки, коррелировались бы с методиками оценки результативности самих органов власти и управления.

Нисколько не недооценивая известной утопичности такого проекта, считаем все же полезным, чтобы такие инициативы настойчиво предлагались и реализовывались по мере сил самим научным сообществом. В конце концов, даже противодействие идеям и инициативной практике такого сотрудничества науки и власти может оказаться значимым политически, для выстраивания отношений и для апелляций к вышестоящим инстанциям.

10. Государство или общество: проблема госзаказа

Есть мнение, что наукой и культурой у нас давно не руководили, где-то с советских времен — и вот вдруг занялись, резко и вплотную. Не совсем так. Вожжи вполне не отпускали даже во времена разгула отъявленного либерализма. Разница лишь в том, что теперь, после слегка освежающей паузы, в это дело бросились, во-первых, как никогда активно, а во-вторых, с разного рода обоснованиями права руководить там, где сами руководящие лица авторитетами не являются. Суть позиции в том, что распределение ресурсов якобы автоматически возводит обычного чиновника в ранг политического эмиссара и даже идеолога. Все это чревато причинением вреда далеко не средней тяжести науке и обществу, а в итоге и самому государству: рано или поздно такая самодеятельность дискредитирует власть и лишней раз сорит ее с интеллектуальной и творческой элитой.

Чтобы понять, где и в чем мы оказались, надо быстро оглянуться. Тем более, что ресурсоемкая наука и в светлом прошлом финансировалось властью.

Так, абсолютизм уже по своей метафизической природе должен был окружать себя людьми высшей интеллектуальной, творческой пробы, украшать правление открытиями и шедеврами. Даже темные, солдафонские времена оставляли после себя памятники творчества и знания. Помимо манифестации величия, не говоря об удовольствии для людей с мозгами и вкусом, в этом было подтверждение трансцендентальной легитимности: помазанника должны окружать «божественные» вещи — а значит, и люди, способности которых тоже не от мира сего. Дар философа и ученого в этом эскорте был особо ценен.

Демократии эти метафизические украшения не нужны, пародиям на нее — тем более. Наука и искусство разбежались из коридоров власти, освободив их для людей разной культуры. Адреса покровителей сменились, однако бизнес и фонды могут перехватывать меценатство, только если власть сама не заигрывает втихую с «богоданностью» и смиряется со своим бытовым предназначением. Тогда частная благотворительность поощряется самим же государством, которое служит скорее техническим распорядителем, нежели покровителем наук и искусств, и уж точно не покушается на автономию, не вмешивается в кадровую политику творческих сообществ, в куль-

турные стратегии и т.п. Надо понимать, что, списывая дары меценатства с налогооблагаемой базы, власть и с себя списывает миссию высокого покровительства, не говоря о прямом руководстве. А это не всем нравится. Списывать с базы — то же самое, что напрямую отдать деньги, а с ними кран и сам руль. И это не просто приватная фанатерия: здесь отрабатывается самоощущение легитимности системы — политика!

У нас в этом плане некоторый микст. Пытаясь нащупать дополнительную легитимацию помимо формальной процедуры переизбрания, начальство гипнотизирует себя иллюзией всевластия. В проклятом прошлом суверен всемогущ, потому что легитимен. Но произвол может становиться свидетельством и знаком легитимности де факто. Обычный распорядительный шаблон французского суверена: «Нам так угодно». Доказательством «права править» оказывается способность подавлять любые права, кроме своих, а свои — ничем не ограничивать. Когда схлопывается харизма, люди часто начинают с нарастающим усердием вести себя так, будто она есть и ее много — бог еще не умер, а нам уже все дозволено. «От псевдохаризматической легитимности к квазитрансцендентной» — примерно так это можно было бы описать в логике Макса Вебера.

Все непросто. Научная политика (политика в сфере науки) нужна, но если кто-то думает, что она хоть в чем-то похожа на директиву, это заблуждение, тем более опасное, что оно имеет системный характер. Точно так же у нас и промышленную политику по госплановской привычке тут же сводят к прямым указаниям, кому, где, что и как производить.

Безупречная в своем роде цепочка: наука это услуга, платит государство, государство (здесь) это я, значит, услуга мне — сообразно моему пониманию политического момента, практической задачи и морального контекста. Эта цепочка кажется настолько убедительной, что ее даже открыто проговаривают. Но это только граждане имеют право на все, что не запрещено законом. Чиновник имеет право делать только то, что ему законом прямо предписано. Все остальное — административное или даже политическое самоуправство.

Иногда приходится напоминать, что наука уже давно самостоятельна и самоценна, что деньги государства это деньги людей, а не министерств и ведомств, что не наука оказывает чиновнику услугу, а чиновник оказывает услугу науке в роли нанятого приказчика. Как

без личной и лишней самодеятельности организовать получение этого заказа от научного общества — отдельный вопрос, но если аппарат этого не знает, его надо срочно менять. Важно также избегать симуляций: эшелонировать схему карманными общественными советами не проблема, но что такое не карманный совет на деле, тоже известно.

11. Оценка результативности отечественной науки в свете реформы РАН. Репутационные издержки и политические последствия

Начало форсированного реформирования академической науки поначалу вызвало в обществе (и отнюдь не только в научном) противостояние, близкое к кризису. Надо понимать, что дело было уже не только в конфликте Академии и подразделений исполнительной власти. В таких случаях избыточно поляризуется социальное пространство; активизируются задремавшие было политические силы; разные взгляды на процесс и результат обнаруживаются и в самой власти, в том числе в ее исполнительной ветви. Главное при этом понимать, что все это уже не вопрос быстрого продавливания законопроектов, а также принятия пакетов подзаконных актов. Сам этот проект, все его социальные, политические и гуманитарные последствия — все это всерьез и надолго. При этом важнейшей составляющей проекта становится аудит эффективности отечественной науки, ее отраслей, институтов и ученых, прямо связанный с оценкой результативности научных исследований, в том числе в сфере философии и социогуманитарного знания.

Проблема «учебника истории»

Один из недостатков нашей текущей политики — зауженный горизонт планирования, прогнозирования последствий, а главное — оценки достигнутого и содеянного. Понятно, что во власти это волнует далеко не всех, но с определенного уровня и статуса начинаются проблемы не только с сиюминутной репутацией, но и с «работой на историю», на репутацию не только в настоящем, но и в будущем. У нас наверху (особенно в последнее время) об этом явно начинают задумываться; есть даже подозрение, что идея единого и непротиворечиво толкуемого учебника истории не вполне чужда этой заботе. Однако

при этом не сразу приходит полное понимание того, что будущее, в отличие от настоящего, пиаром не пробьешь и прореживанием дискурса не исправишь. Его историю (в том числе историю переоценки и реинтерпретации предшественников) пишут, увы, другие, и делают они это часто куда менее ангажированно.

Может показаться, что для разговора о нынешней реформе академической науки в России это начало разговора слишком издалека. Но с другой точки зрения, может быть, именно с этого в данном случае и надо начинать. А именно с того, что от всех этих инициатив и конкретных действий в итоге (в истории) останется. И на ком все в результате (а не в эти месяцы) повиснет. Королёв говорил: «Сделаешь быстро, но плохо – ”быстро” забудется, ”плохо” останется. Сделаешь медленно, но хорошо – ”медленно” забудется, а ”хорошо” останется».

К тому же бывают проблемы и ситуации, когда «быстро» и «хорошо» в принципе несовместимы. Наш случай отсюда.

Можно спорить о том, какие политэкономические и стратегические последствия будет иметь провал неподготовленного начинания, если оно стартует по наполеоновскому принципу «сначала ввязаться в драку, а там...» (хотя в нашем случае более уместной выглядит русская поговорка «убийство драке не помеха»). Но в истории часто остается даже не столько содержание события, сколько его форма, не столько результат, сколько процедура, способ действия и реализации. Не «что», а именно «как». Часто именно форма действия более всего говорит о человеке, в том числе об историческом деятеле – о его морали, уме, политическом таланте... или недостатках.

С этой точки зрения, сейчас, может быть, гораздо важнее оказываются даже не суть и детали законопроекта, всего пакета и плана реализации, а именно процедура, характер действий и отношений, этика и стиль, политическая манера, наконец, просто эстетика деяния.

По идее, это же должно быть предметом приоритетного обсуждения и коррекции, если мы хотим свести к минимуму негативные последствия такого бурного начала. Особенно с учетом того, что форма взаимодействия, принятия решений и их воплощения будет потом годами аукаться с каждой новой акцией в отношении структур, направлений, институтов, их подразделений и даже отдельных лиц, имеющих (или вдруг приобретающих) неординарный вес.

Автономия во сне и наяву

Если всмотреться в проект и в реакцию на него, окажется, что за вычетом легко снимаемых «экстремизмов» в духе «ликвидации» и т.п. главные претензии предъявляются идее передачи управления научными институтами от академии к специальному органу исполнительной власти. Можно опустить вопрос о том, могут ли чиновники лучше самих ученых руководить исследованиями – определением приоритетов, оценкой результатов и пр. Но на это, по крайней мере на словах, никто, казалось бы, и не претендует. Речь постоянно идет о желании освободить ученых от несвойственной им функции управления имуществом, ни в коей мере не посягая на академическую автономию, то есть на то, что даже в «мрачном средневековье» в более или менее цивилизованном мире уважительно именовалось университетскими свободами.

В наших условиях, когда мы имеем дело с проблемой избыточного регулирования буквально во всех сферах деятельности, причем отнюдь не только в предпринимательской, можно быть уверенными, что административное вмешательство в исследовательский процесс гарантировано, как только такая возможность появляется, причем совершенно неважно, является такая возможность прямой или косвенной. Мотивы здесь не обсуждаются, поскольку и так понятны и, как правило, к предмету деятельности отношения не имеют. При этом понятно, что в случае, если недвижимостью, движимостью и прочими ресурсами какого-либо института или группы институтов управляет некая сугубо внешняя инстанция, о реальной автономии говорить уже проблематично. В итоге есть риск получить классический, причем искусственно созданный дополнительный административный барьер.

Наука и общество: постнеклассические отношения

Приходится констатировать, что наша наука в известном смысле проспала постнеклассическую революцию, когда научное знание оказалось перед лицом необходимости объяснять человечеству, что ученые делают, зачем это нужно, какие от всего этого могут быть последствия, причем в равной мере как позитивные приобретения, так и риски, возможно, даже фатальные.

Мы в этом не одиноки. Уже примерно полтора десятка лет назад перед подобной (и совершенно практической) проблемой оказался,

например, ЦЕРН, вдруг ощутивший живую потребность начать как-то объясняться с внешним миром, какой ему толк от всей этой ядерной физики и ловли неуловимых частиц, если эта мировая складчина обходится не менее миллиарда долларов в год. Тогда анализ, проведенный в том числе с помощью наших специалистов в области «философского пиара», показал, что даже на совершенно утилитарном уровне у этих, казалось бы, сугубо фундаментальных исследований есть огромное множество побочных достижений, в буквальном смысле слова изменивших мир, например, все та же WWW – World Wide Web, разработанная Робертом Кайо, поначалу в целях оптимизации принятия решений и электронного документооборота. Иными словами, проблема не в результатах, а в том, что о них не знают, если этим специально не заниматься.

Это проблема фундаментальная, можно сказать, историческая и кавалерийской атакой не решается. Если кто-то думает, что реальную результативность нашей науки, тем более не в целом, не интегральную, а с дифференциацией по отраслям знания, по научным организациям и даже отдельным ученым можно выявить, заказав непрофильной иностранной фирме соответствующее разовое исследование, а потом проведя своими же силами скоропалительный «аудит», это само по себе является свидетельством вопиющей некомпетентности, усугубленной нежеланием учиться. ЦЕРН выскребался из этой коллизии не один год, с провалами и не до конца. Что можно говорить о нашей науке, у которой даже близко не хватает ресурсов на исследования, а на экспликацию и презентацию собственной результативности не было и нет вообще ни копейки (если, конечно, не считать такие недавние начинания, как РИНЦ).

Далее выяснится, что в плане реальной результативности, ее выявления и оценки, есть фундаментальные различия между точным и естественнонаучным знанием, с одной стороны, и социогуманитарными науками – с другой. Никто еще не отменял максимы Клода Леви-Стросса: «XXI век будет веком гуманитарных наук – или его не будет вовсе». При этом в социогуманитарных науках сплошь и рядом самое результативное (даже в сугубо конъюнктурном смысле этого слова) вообще не ловится международными базами данных и индексами цитирования, поскольку привязано к месту, к ситуации и т.п. Если эти различия не учитываются, если эта проблема даже толком не ставится, уровень подготовки любого «аудита результативности»

можно без оговорок считать неудовлетворительным и отправлять на пересдачу, лучше сразу с другими учениками.

И наконец, совершенно особая тема — сверхутилитарная «результативность» науки, познавательной деятельности в целом. В науке есть своя прагматика, причем по косвенным признакам и итогам выявляемая даже в фундаментальных исследованиях. Однако человеку и человечеству по определению генетически свойственно узнавать и знать, причем совершенно безотносительно к голой или «приодетой» прагматике. Если это в нации есть, такие направления пестуют и культивируют даже самые малые страны. Тем более это относится к России, в прошлом которой однажды было почти уникальное в истории человечества явление — полный научный комплекс. Даже если в каких-то направлениях остались почти руины этого великого сооружения, к ним надо относиться так же бережно и культурно, как мы относимся к памятникам архитектуры и археологическим открытиям. Это долго объяснять, но есть люди, которым вовсе не объяснишь, почему историческое здание, а тем более памятник архитектуры порой нельзя переоборудовать в стиле модерн (тем более постсоветский) и устроить в храме мысли интеллектуальный фастфуд, хотя бы и неплохо саморекламируемый и даже доходный.

Есть и более простые соображения, ставящие на место сторонников заполощных реформ. Формализованная оценка результативности, казалось бы, дает основания избавиться от балласта. Иногда это срабатывает. Но сплошь и рядом все упирается в непонимание того, что наука это сложный организм, к тому же требующий для своей репродукции определенной среды, состоящей отнюдь не из гениев и их прямых подручных. К тому же вы отсечете огромную зону нераскрытого потенциала, в которой вообще нельзя заранее сказать, что именно сработает и вдруг неожиданно развернет весь процесс.

Нынешняя наука в России — сложнейшее образование, причем не только исследовательское, но и социальное. Представьте себе венчурный бизнес с элементами собеса, по-человечески просто обязанного содержать множество людей, отдавших науке и стране всю жизнь, проработавших за копейки без сна и отдыха и не получивших в свое время за это даже малой доли той компенсации, которую имели и имеют в других странах вполне себе рядовые научные сотрудники.

Возможно, сейчас в нашей истории такое время, что хотя бы на несколько лет вообще лучше воздержаться от каких-либо рево-

люционных изменений. Иначе можно легко совершить еще один «подвиг» сродни обесцениванию вкладов и нарваться на протест, в сравнении с которым недовольство монетизацией льгот покажется мелочью, а «заливать деньгами» эту беду придется уже политическому руководству.

Подорвать будущее нашей науки сейчас еще проще, но тогда во власти нужно куда больше людей, которых это вообще волнует, понимающих, что для такой страны, как Россия, наука это не приятный аксессуар, но атрибут государственности и самосознания.